

# В ОЧЕРЕДИ

В поликлинике онкоцентра народу было столько, что, как оказалось, сидеть здесь надо было весь день. Люди приходили сюда в шесть-семь утра и только к вечеру уходили. Само по себе это сидение было изнурительно. Ощущение разбитости из-за того, что встала рано, и невозможность поверить в предполагаемый диагноз – всё сливается в одно расплывшееся нефтяным пятном на тихой прозрачной воде впечатление никогда не испытанного ужаса. Даже здоровый, попавший сюда по осторожности или некомпетентности врачей, оказывался втянутым в водоворот, из которого приходилось выкарабкиваться, захлёбываясь слезами и отплёвываясь от ледяной и мутной воды. В одной очереди сидели люди с чёрными щеками и губами, будто измазанными мазутом; женщины с одной грудью, отсутствие второй угадывалось по пузырьку на халате, напоминавшему съёжившийся воздушный шарик, который вдруг лопнул сам по себе, перестав радовать своим невесомым парением над головой; женщины с отёкшими руками, ставшими похожими на срубленный и очищенный от коры ствол; молоденькие девушки с ещё молодыми мамами и неопрятные нечёсанные старухи, еле волочившие слоновьи ноги с вздувшимися чернильными венами, которых медленно и осторожно вели под руку их уже тоже изрядно потасканные жизнью и постаревшие дети. Но не эти старухи потрясли её воображение. Потрясли именно молоденькие девушки с небесными глазами. В одной очереди сидели и те, кому предстояла операция, и те, у кого она была позади. Последние тоже делились на две категории: выпросивших у неба отсрочку и тех, для кого конец приближался со скоростью надвигающегося локомотива.

За многочасовое сидение в этой очереди обречённых или приговорённых к смятению можно было заболеть даже здоровому. Именно здоровые, очутившиеся здесь по осторожности врачей, чувствовали себя загнанными зайцами, попавшими в капкан. Именно здоровые вбирали в себя жадными глазами этих обречённых на небытие, с нескрываемым страхом примеряя

на себя жизнь этих людей, которая истончалась, пересыхала, будто ручеёк под палящим пустынным солнцем, раскалённым до бела. Обречённые на конец или живущие иллюзией, что они немного побудут ещё на этой земле, смирились уже со всем, что вскоре предстояло, и казалось, были спокойнее всех впервые попавших сюда и внезапно выдернутых, словно морковка из грядки, из ровного частокола зелёных распушившихся дней. Она со страхом и сочувствием глядела на людей вокруг. С удивлением подумала о том, что они здесь такие же обычные, как те, что ходят по улицам и штурмуют подошедший автобус. Посмотрела в окно и ей показалось, что там, снаружи, другая планета, где на душе благополучных и легкомысленных людей всё легко, точно майский тополиный пух. Подумала о том, что несколько дней назад и она была там, летала по улицам, не ведая о своей болезни. Мечтала о том, что надо бы купить, наконец, шкаф на кухню, а то кастрюли и сковородки уже не впишутся в стол и их приходится втискивать в старый холодильник. А неумолимое и ко всему бесстрастное время отсчитывало последние минуты её неведения.

Она со страхом и сочувствием смотрела на девушку, почти девочку лет четырнадцати-шестнадцати, пришедшую сюда с матерью, что сидела рядом с ней. Девушку уже прооперировали – и она пришла оформлять инвалидность. Девушка была очень бледная и совершенно спокойная, в отличие от многих в этой многочасовой очереди. Её молодая ещё мама о чём-то озабоченно спрашивала дочь. Она с грустью подумала, что она уже пережила возраст не только девочки, но и, пожалуй, мамы той, но почему-то места себе не находит, глядя на женщин, прогуливающихся до аптечного киоска мимо очереди из ожидающих аудиенции хирурга в ярких цветастых халатах персидских мотивов, будто призванных вносить в жизнь буйные краски короткого лета, под которыми угадывалось отсутствие одной груди. А вот эта девушка тихо сидит в очереди и кажется, что не в очереди она из людей, ожидающих приговора, а где-то на даче в саду. Такое у неё расслабленное и умиротворённое лицо, точно знает она уже, что торопиться некуда: всё придёт в свой срок, за летом обязательно появится рыжая осень, подметающая своим хвостом пронизывающего ветра ещё не съевшиеся разноцветные листья, похожие на сваленные в кучу тряпочки для лоскутного одеяла. На одеяло в свой срок зима накинёт белое покрывало, которое с каждым днём будет всё больше становиться похожим на гигантскую пуховую подушку. Деревья замрут в глубоком сне, будто обмотанные бинтами и обложенные ватой, певчие птицы улетят в чужие края и только снег будет падать и падать, окрашивая жизнь в кафельный цвет плитки больничной палаты или морга.

Напротив сидит женщина лет шестидесяти. Она рассказывает про свою дочь, которая больна по вине районного гинеколога. Врач долго лечила её от чего-то другого, не замечая страшной болезни. Когда рак всё же обнаружили, была уже третья стадия, неоперабельная форма. Мать тянет её уже три года. Никто в их подъезде не знает о её болезни... У дочери – девочка десяти лет, ради которой надо жить. «Когда мы с ней в метро, я держу вот так руку, – женщина вытягивает руку в сторону, – чтобы она не бросилась под поезд...» Надо жить, но в глазах женщины – чернота глубокой ночи, где звёзды затянуты тяжёлыми тучами. Эти глаза – олицетворение всей мировой скорби.

Вот тут же мимо череды людей, сидящих на стульях в очередь к хирургу в отделении поликлиники, прошествовали к аптечному киоску две ещё нестарые женщины в байковых халатах на запахе. Она с ужасом смотрела на их плоскую с одной стороны грудь. Навстречу им пробежал

чернявый красавец-врач. Он бросил мимоходом одной из них: «Зайдите!» Жизнь для них продолжалась... Купят протезы, будут сидеть в гамаке на даче в тени деревьев и радоваться любому даже хмурому дню без дождя... У природы нет плохой погоды. Мелочи всё это... Всё мелочи по сравнению с тем, что однажды (а, может быть, и очень скоро) придётся лечь в ящик, пахнувший свежеструганным деревом и провалиться в яму, выкопанную в сырой глине, что окажется бездной.

Молоденькая врачиха долго и жёстко мяла её грудь, что-то пристально там разглядывала, дала направление на маммографию.

Маммографию делали в определённые женские дни. Потянулись дни ожидания. Как только она представляла, что у неё отрежут грудь, в глазах быстро сгущались сумерки, которые молниеносно переходили в чернильную ночь, вспарываемую разноцветными огнями фейерверков. Очнувшись и приняв негнушимися пальцами таблетку от спазмов сосудов головы, она сидела с прикрытыми глазами, думая о том, что вот так в один момент и кончается наша жизнь. Кажется, что до конца ещё далеко, а вот поди ж ты, оказывается, смерть уже, как белый корабль, показалась на горизонте её бескрайнего моря жизни и неуклонно приближается к её берегу, чтобы сойти со спущенного трапа, цепко взять за руку и увести за собой.

Она представляла, как она будет жить без груди, и думала о том, что, может, вообще лучше не оперироваться, если ей объявят страшный диагноз. Подходила на слабеющих ногах к зеркалу, когда дома никого не было, сбрасывала халат и внимательно разглядывала свою ещё молодую и розовую грудь. Прощупывать её она просто боялась: вдруг найдёт уплотнение? За окном по-прежнему светило яркое майское солнце, но на улицу почему-то не хотелось, она чувствовала себя серым облезшим воробушком, попавшим на праздник жизни розовых фламинго и павлинов, распушивших феерические хвосты... Она боялась крови, уколов, возможной предстоящей операции и жизни без груди. Она отчётливо представляла грубый красный шрам вместо удалённой железы и свою отёкшую руку, больше похожую на ногу слона. Она с паническим страхом думала о том, что муж найдёт себе другую бабу, молодую и не изрезанную. То, что она станет уродкой, пугало её гораздо больше, чем то, что её не будет вообще. Она ясно видела, как её живую и розовую грудь бросают окровавленным ошмётком в контейнер. Она осторожно погладила пальцами нежную кожицу с голубыми ручейками прожилок и неожиданно для себя самой разрыдалась. Слезы текли по её щекам и прыгивали на топорщащуюся грудь, словно капли росы с потревоженных ветром листьев на землю. Она посмотрела на своё обезображенное плечом и перекошенное лицо с губами, извивающимися, точно дождевой червяк, внезапно перерубленный лопатой. Лицо стало красным, будто обваренное кипятком, белки глаз краснели, как на плохой фотографии, и ощущение было такое, словно в глаза надуло поднявшимся шквальным ветром грязной дорожной пыли с просёлочной дороги. Она резко тряхнула растрепавшейся головой, чувствуя, что плач не только не принёс облегчения, а отнял у неё последние тающие силы. Ощущала себя цитрусовым, пропущенным через соковыжималку. «Хватит! – сказала она себе. – Возьми себя в руки и не превращайся в распутившуюся бабу». Почему-то перед глазами всплыла та девочка-подросток, спокойная и бледная, как река, подёрнутая льдом, на который просыпался первый рыхлый снег. Решительно запахнула халат, но долго не могла найти прорезь для пояса.

Ночью она просила мужа целовать её грудь как можно нежнее, лизать, как снежок, зажатый в детской ладони, и шептала, что она хочет это запомнить и очень надеется, что он тоже сохранит это на донышке памяти.

# В ЗАМЁРЗШЕМ АВТОБУСЕ

– Очнулась? Мой кисёнок! – сказала мама и погладила её по голове, убирая волосы со лба. Мамина ладонь была гладкая, будто яблоко, и пахла земляникой. Или земляничным мылом? На полу рядом с кроватью стояла настольная лампа, мутный свет которой был направлен под панцирную сетку кровати. Сквозь приоткрытую в коридор дверь жёлтая полоска света, похожая на лежащую на линолеуме ковровую дорожку, утекала в тёмный коридор. Девочка посмотрела в проём двери – и увидела, как эта полоска света пересекается с другой, образуя развилку тропинок. Она подумала о том, что в той палате, откуда тоже тёплой змейкой вытекал свет, лежал её друг Антоша, с которым она познакомилась в столовой, когда Антон туда ещё приходил. Его мама давно жила в больнице и почти не уходила домой. Не спит, не ест, а только не сводит глаз со своего сына много ночей подряд. У него была какая-то опухоль мозга, которая развивалась очень давно. Сначала была маленькая киста, но она постепенно росла, толстела, начинала давить на соседние участки мозга – и Антоша мучился от головных болей, которые заставляли его всегда внезапно. Боли были такие сильные, что единственный глаз Антона заволакивала мутная плёнка, похожая на ту, что бывает на стоячей цветущей воде. Антон начинал тяжело дышать, тёр виски и бросался на кровать, глотая какие-то круглые розовые таблетки, одна-две штуки которых всегда лежали у него на тумбочке. Другой его глаз был завязан белым бинтом, всегда перепачканным кровью. Ребята из его палаты поделились, что глаз у него удалили, так как опухоль проросла в глазницу. Вообще Антон был довольно жизнерадостным и весёлым мальчиком, любил травить анекдоты, сам первый начинал смеяться. Правда, юмор у него был какой-то чёрный. Когда дети звали его поиграть после химии, он, например, мог сказать: «Вот сейчас проблююсь и приду, а то принцессе придётся прежде, чем сделать шаг, поднимать платье, чтобы не запачкаться...»

Антон последнюю неделю совсем не выходил из палаты, и девочка подумала, что надо бы его завтра навестить... Попросила маму привезти её на каталке к Антону. Когда она его увидела, то не узнала. Незабинтованный глаз застыл, уставясь на раздвоенную трещинку на потолке, похожую на линию жизни, – туда, где эта трещинка обрывалась. Девочка осторожно взяла Антона за руку:

– Антоша, привет! Как дела? Мне мама новую игру принесла, будем играть!

Но Антон смотрел сквозь неё, как сквозь стекло, и видел лишь свою трещинку, заканчивающуюся крестом. Девочка смотрела на него с ужасом. Теребила его руку, показавшуюся ей какой-то мягкой игрушкой, набитой опилками, теребила всё настойчивее и упорнее. И – о чудо! Антон посмотрел на неё каким-то осознанным умудрённым взглядом

старца, всё знающего про жизнь, знающего такое, что до поры до времени людям неведомо. Ей даже показалось, что его рука потянулась погладить её по голове, немного согнув пальцы. Он улыбался какой-то виноватой улыбкой. Девчушка сжала его руку:

– Смотри, что я тебе принесла, – сказала она, протягивая ему игру.

Губы Антона растянулись в какой-то дрожащей улыбке, словно видела она его в отражении воды, волнуемой лёгким ветерком, здоровый глаз заморгал так, что можно было подумать, что ему в глаз попала соринка. Он что-то говорил будто, но слов не было слышно: точно сильный ветер относил его фразы в далёкую даль. Вдруг его глаз перестал моргать и закрылся, но веко по-прежнему подрагивало, точно листок от дождя. Когда глаз снова открылся, он показался девочке стеклянным. Веко больше не дрожало, а зрачок, казавшийся стеклянной чёрной бусиной, смотрел в потолок, ни на что не реагируя. Девочка стала тереть его руку, словно маленький ребёнок тербит мамину юбку, требуя исполнить его каприз:

– Антоша, Антон, Антошечка!

Но больше Антон не слышал её. Больше он ни на кого не реагировал, хотя прожил ещё две недели. Девочка постоянно прислушивалась к тому, что происходит в соседней палате, вся обмирая от страха. Рубашонка, мокрая от пота, противно прилипала к спине, точно она попала под дождь. Она ещё верила в то, что смерть можно обмануть. Вот сейчас Антон очнётся – и они сыграют в её новую игру, которую ей так не терпелось ему показать. Она видела, как медсёстры бегают к нему с кислородными подушками и капельницами, видела, как его отец греет в руках пузырьки с плазмой, дышит на пузырьёк, пытается его согреть своим дыханием, точно оттаивает окно в замёрзшем троллейбусе...

И сама она точно попала в этот замёрзший троллейбус, в котором качивает и поднимается тошнота. Ей снова не хватает воздуха... Он такой морозный, что замёрз до ледяных призм, которые она никак не может протолкнуть в своё горло. Обдирает его до боли, до крови, солоноватый вкус которой она чувствует на своих губах...

Девочка проваливается то в обморок, то в тяжёлый сон, придавивший её холодным колючим осевшим после оттепели сугробом... Они идут с Антоном по коридору школы и ищут класс, на урок в котором они, заигравшись на перемене, опоздали. Школа новая, она недавно в неё перешла из другой – и плохо знает своих одноклассников. Девчушку охватывает страх, что её будет ругать учительница, что она такая недисциплинированная. Учительница у них тоже новая и предмет новый, на улице весна – и ей так не хочется идти в душный класс, где не хватает спёртого воздуха, а в виски больно стучатся настырные молоточки и кружится голова. Но надо! Они доходят с Антоном до какой-то двери, Антон робко стучится и приоткрывает дверь, растягивая большие ржавые пружины, на которых она держится. В открытую дверь она видит учителя с лицом реаниматора, только одет тот почему-то в чёрную рясу священника. Ей становится страшно. У доски она видит лысого мальчика, того самого, чья рубашонка была залита кровью в тот день, когда она бежала из больницы. Мальчик что-то пишет фломастером на белой доске, но буквы исчезают, как будто чернила испаряются или не видимы для неё. Она стоит и смотрит из-за спины Антона на его старания. Мальчик замечает их – и приветливо им улыбается,

махнув рукой: «Заходите!» Но Антон неожиданно оборачивается к подружке и очень тихо говорит:

– Тебе не сюда!

Он отталкивает девочку – и ныряет в узкий проём двери, которая с шумом захлопывается, больно ударив её руку, так что из глаз её брызнули слёзы и она отшатнулась к холодной шершавой стене, покрашенной в бледно-зелёную краску цвета травы, закрытой от света. Стена нежно и щекотно колется, точно папина небритая щека или зелёный мох.

Через три часа всех детей собрали в коридоре и повели «гулять», чтобы вынести тело мальчика без свидетелей. Дети шли молча, как набрав в рот воды, не обращая ни на что внимания, сгорбившись, как маленькие лысенькие старички, опустив глаза, в которых у многих из них блестели слёзы. Они шли гуськом, как под конвоем по тюремному двору.